

Тео

Он вздрогнул и обернулся.

Никого.

(Всем святым заклинаю, именем сына твоего, сделавшего здесь свой первый вздох, помоги...)

И его имя. Одно из многих. То, где слышится протяжный освист ветра, от которого вздрагивают земные ущелья.

Но это не был ветер с его фальшивым надрывом, голос был человеческий. Женский.

Женщина? Здесь?

Хотя...

Это случилось восемь лет назад. У них были куртки на меху и по три пары рукавиц, но все равно обморозились. Особенно досталось той, в желтых ботинках. Она переминалась с ноги на ногу, и фотографировавший несколько раз недовольно выкрикнул ее имя: Юнко. Вот ведь застряло, а имя другой, что когда-то священнодействовала, зарывая в снег тряпичную куколку, это имя не удержалось в памяти, как не удержалась она сама во время спуска. Ее тело погребли на Южном седле, навалили кособокую пирамиду из камней – торопились вниз, стоит ли осуждать? – даже орел остерегается забираться так высоко.

(...не то я не знаю, что с собой сделаю!)

И тогда

(неплотно прикрытая дверь нитка света скрюченная фигурка на земляном полу завернувшийся подол домотканого платья нога с венозной жилкой слабый запах дрожжевого теста)

Он увидел ту, что ждала его, застыв в неудобной позе. Она ползла к дверям, когда последние силы оставили ее

– Где ты? – вырвалось у Тео.

Его слова передразнило эхо.

Последняя вылазка отняла у него столько сил, что от одной мысли о новых скитаниях ему стало не по себе. Из какой дали донеслась эта мольба? Никогда нельзя было сказать наверняка. В прошлый раз он натер такие мозоли, что хироподист в Салониках потребовал двойную плату. На обратном пути он

приобрел у крестьянки тибетские катанки, надолго ли их хватит. А что если голос был из бездны времен?..

(Если ты есть, не оставь рабу твою!)

Тео плотнее закутался в одеяло из свалявшейся верблюжьей шерсти, но озноб не проходил. Он уже знал, высший приговор произнесен и обжалованию не подлежит, ибо нет судьбы выше него, а все же медлил, – так медлит смертный заглянуть в свинцовые воды Леты. Окрест теснились вершины, лоя зазубренными выступами кольца проплывающих облаков. Тео мог часами следить за этой охотой. Она напоминала ему игру в серсо, некогда увиденную там, внизу. Но сейчас взгляд его равнодушно скользнул по снежным гребням и остановился на едва различимой точке у подошвы горы. Монастырь Ронгбук. Улыбка пробежала по его лицу. Вместо гонга буддисты подвесили на веревке пустой кислородный баллон, брошенный первой английской экспедицией, и с тех пор жители окрестных деревень всегда знают, когда монахи расходятся по своим кельям.

(Ом мани падмэ хум.)

Он закрыл глаза и задержал дыхание. Благоговейная тишина установилась вокруг. Истаяли облака, как мыльная пена. Полилось голубоватое свечение.

Вот и всё. К чему лукавить, ты ведь искал предлога сойти вниз, лишний раз убедиться, как вскружила им головы эта сладкая отравка – свобода. Ты, сознайся, для того и придумал весь этот маскарад, с ними иначе нельзя: коли создал их по своему образу и подобию, явись им в образе, сохраняя подобие. Ты был давно готов, вот только не знал *когда*. Этого даже тебе не дано знать, ибо в начале было Слово, и Слово утвердило естественный ход вещей, а значит быть посему.

Тео начал спускаться.

Отстучал деревянный молоток в двери и ставни домов. Оттрубил шофар – длинный изогнутый рог. И пришел день, которого они давно ждали. День сотворения Адама из глины. День отпущения Иосифа из темницы. День, когда Моисей вырвал у фараона согласие вывести свой народ из египетского плена.

Мать поставила на стол халу в виде лестницы, по которой их молитвы поднимутся к Создателю. В этот раз непременно дойдут, ведь уходящий год выдался – тяжелее, кажется, не бывает. Скончалась свекровь, встретив смерть как освобождение для себя и близких. Не переставая болела младшая дочь. Падали овцы в отаре, и уже поговаривали об эпидемии.

Смутное время – ночное. Так ведь и жизнь не с ночи ли зарождалась? «И был вечер, и было утро: день первый». Жди, стало быть, утра.

Отец тем временем зажег свечу, и пламя заплясало в чаше с вином.

– Господи, приклони небеса свои и сойди! Спаси нас от врагов наших, от завистников. Да будут дети наши, как разросшиеся растения. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами. Блажен народ, у которого Господь есть Бог!

Четыре застывших фигуры.

– Аминь, – закончил отец, за ним и остальные, отламывая по кусочку от халы.

В этот день много таких хлебных крох было брошено в реку, чтобы шли они на дно, и вместе с ними – грехи человеческие. Забыла ли эта семья бросить в быстрые воды свою лепту, или не такие были их грехи, чтобы кануть бесследно, а только не внял Господь их молитвам.

Или не услышал.

И вновь он оказался не готов к тому, что увидел. Тропа – на их языке «классический маршрут» – сбегала к подножию, лавируя среди консервных банок, ключев брезента, отработанных зажигалок и газовых баллончиков, рваных носков, шарфов, обрывков веревки и даже целых палаток. Он поднял банку порошкового лимонада. Рядом валялись недоеденные сардины, вытекшее масло застыло

«Сагарматхой именовали ее непальцы, говорил сам с собой Тео. Для жителей Тибета она была Джомолунгмой. Для европейцев – Эверестом. А еще слыла Святой горой...

«...и обителью богов, да-да, напрасно ты морщишься, как от зубной боли», – напомнил ему автор, этот выскочка, который мнит себя ведающим промысел Господень.

желеобразной запятой. Позже ему попался на глаза примус с дырой, зиявшей на месте ацетиленовой горелки. Он поймал себя на том, что раздражение его сродни старческому брюзжанию, и усмехнулся. «Дети. Для вас свобода – это когда развязаны руки. Не опьянели еще? Не захлебнулись?» Он продолжал путь вниз, стараясь не глядеть под ноги.

Аммонитянина звали Иаков. Настоящее имя у него было другое, но природная хромота сослужила ему плохую службу, и хотя он никогда не боролся с ангелом Господним, кличка пристала. Иаков пастушествовал. Злословили, будто не одна овца в отаре охромела, видя перед собой колченогого, да только чего не наплетут старухи в Вифлееме!

Гита пошла за Иакова, не дождавшись настоящего жениха. Она родила ему двух девочек. Старшей, Иезавели, шел четырнадцатый. У нее были материнские жесткие волосы и ее же глаза – черные, неподвижные. В остальном она повторила отца. Иезавель молча доила по утрам овец, молча обносила молоком покупателей и, бывало, к полудню возвращалась, так и не проронив ни единого словечка. Когда ей было шесть, случилось по их улице проходить точильщику. Он остановился возле дома аптекаря и стал предлагать детям тянучки. В суматохе Иезавель стащила кухонный тесак. Зачем – ответа от нее так и не добились.

У Гиты хватало забот с Иезавелью, чтобы не лезть в душу к старшей дочери. То, что она услышала за три дня до Йом Киппура, было так же весело, как улыбка, приросшая к лицу покойника.

По краю морены тянулась цепочка следов, кое-где попадались кучки помета с непереваренными остатками крыс. Йети! Помет был совсем свежий. Огибая скалу, Тео оступился и едва не сшиб дуреху. Это была крупная самка с тяжелым брюхом в серой, словно расчесанной на пробор шерсти. Обезьяна придерживала отвислые груди и тарасилась на Тео. Придя в себя, йети упала на четвереньки и с резким свистом метнулась вверх по склону.

Вот вам и снежный человек, подумал Тео. И почему, спрашивается, это безобидное существо должно быть предвестником смерти? Болела лодыжка. Он подвернул ногу, и теперь взгляд его был прикован к тропе.

(она еще молода тридцать от силы тридцать четыре полные икры широкие слегка повернутые внутрь ступни второй ребенок достался ей большой ценой отслоение сетчатки правый глаз бликует линза младшая не отпускает ее ни на шаг держится за подол как собачонка у малышки скрытый очаг в легком но умрет она от другого волчанка страшная болезнь впрочем до этого еще далеко так в чем же дело)

Воздух уплотнялся, и Тео жадно вдыхал его, будто хотел надышаться впрок.

(муж ее похож на сирийца ухватистые руки такие обычно у безногих хромоногий вот оно что все думают это у него от природы так он им представил когда-то придя из чужих краев из Эс-Сувейды вот откуда Сирия а на самом деле его годовалого уронил захмелевший отец вынеся сонного на обозрение такой же хмельной братии держись пастух подальше от Черной балки после второго падения тебе не подняться да но ей-то сие неведомо так откуда спрашивается это отчаяние)

Гималайские тераи. Березки впережку с банановыми деревьями. Предгорья встретили его духотой и малярийными комарами. Городок, через который лежал путь, валялся в полуденной пыли. Улочки вымерли. Тем неожиданней зазвучал бубен-каньзари, и прямо на Тео выплыли два свадебных паланкина. Одутловатый жених вытирал пот рукавом рубахи, размазывая по щекам цветную пудру. Тео пропустил паланкины и свернул в боковую улочку, где жил Пемба.

Еще издали он слышал перезвон колокольчиков и мерные удары гонга. Вращалось молитвенное колесо, а это могло означать одно из трех: рождение, смерть или молитву. И даже праздный гуляка, идя мимо, бормотал: «Ом мани падмэ хум...» Тео подождал, пока старый шерпа кончит молиться, и вошел в дом. Анг Ламу, жена хозяина, проводила его наверх. Горел очаг, сложенный из каменных плит. Сквозь чад он не сразу разглядел сидящих за столом.

– Ешь, – подбадривал Пемба младшего внука. – Ешь, если хочешь вырасти большим и сильным. Будешь ходить на Гору, через которую не может перелететь ни одна птица.

В еду, для жизненной крепости, замешивалась кровь яка. Сама животина маялась в хлеву под ними, отгоняя докучливых мух от свежего надреза на шее.

– Далеко ли на этот раз? – Шерпа долил горячей воды в рисовое пиво и шумно втянул горчащую брагу через бамбуковую соломинку.

(«Не наливай так много, не унесешь».)

Без ответа.

«Вернешься – будем печь хлеб. Ты меня слышишь?»

Кивок.

Босые ноги ступают по горбтому проулку. Подол зацепился за куст шиповника, хрустнула ветка, сломавшись в суставе, молоко плеснуло через край. Поскрипывает коромысло в ведерных уключинах. Зевок калитки. Мужской голос: «Ты, Иезавель?»)

(ИЕЗАВЕЛЬ)

– А я больше не ходок. Весной собрался было через перевал за солью и назад вернулся. Врачи говорят «полуартрит». – Шерпа втянул теплое пиво и, зажмурившись, проглотил. – Поживем еще!

Анг Ламу поставила перед Тео миску с мо-мо. Он не любил эти переперченные разваренные пельмени, но смирился перед неизбежным. А хозяйка уже закладывала новую порцию.

– Она у меня на все руки, – светился Пемба. – Клад, а не жена. Боюсь даже: утром проснусь, а под подушкой орех бетеля.

Чтобы доставить хозяину удовольствие, Тео сделал вид, что не понял.

– Очень просто. Положила под подушку орех – развод! А я что сделал? – Пемба победоносно посмотрел на жену, но взгляд его выстрелил вхолостую. – Сплю без подушки!

(все дело в Иезавели старшей дочери магнолиевая роща в глубине дом из белого известняка и олеандры спускающиеся к реке террасами почему-то в роще не поют птицы она боится пройти эти двести шагов до увитого плющом крыльца почему же идет что ее толкает)

Он шел в Катманду, преодолевая подъемы и спуски, переходя речушки через шаткие мостки, оставляя позади апельсиновые сады и ламаистские часовни, распластанных на отмелях черепах и белых цапель, выбирающих клещей из шерсти косматых буйволов, а также нищету и дикость этих деревень, где матери кормят грудью шестилетних детей в надежде больше не забеременеть, а их мужья закапывают под порогом лошадиные черепа, дабы отвратить от дома злых духов. Позади оставались смердящие туши священных коров, укушенных священными змеями, и разжиревшие от падали шакалы, визжащие от бессонницы. Тянулись кукурузные поля, брели паломники, чтобы прикоснуться к камням опустевшего дворца далай-ламы. Устало, тупо ползло время, как деревянный лемех на джутовой плантации в Тукуче, как траурная процессия в Бенаресе, где берега посерели от золы и пепла.

(что ее толкает)

А впереди Катманду, выборы богини Кумари из пятилетних девочек – красотицы, счастливицы, которая проживет в холе и неге до первых месячных, после чего ее выбросят из дворца, и ни один мужчина не осмелится познать ее под страхом смерти. И будут надрываться барабаны и дудки, и будет валом

валить народ, мужчины в узких брючках, с шапочкой топи на голове, и женщины в шерстяных платках через плечо, с звенящими браслетами на запястьях, и кого-то непременно затопчут в давке, не без этого, зато праздник наберет силу, будет что целый год вспоминать.

Тео часто оборачивался на Сагарматху – жемчужину в гималайской короне. Переправившись через Кали-Гандак, он последний раз приласкал ее взглядом. Отсюда величайшая вершина казалась ледяной горкой вроде тех, какие строила когда-то европейская знать для зимних увеселений.

Он не успел заметить, как пробежал месяц. Если бы он мог так бежать! Ему попала на глаза газета. ИСЛАМАБАД БРЯЦАЕТ ОРУЖИЕМ. ПРОВОКАЦИИ НА ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЕ. Выход к пустыне отрезан, подумал Тео, но можно взять севернее, выйти ближе к Лахору, а потом...

В Палестине шли дожди, второй месяц дождей.

– А потом?

Иезавель молчала.

– Что было потом, я тебя спрашиваю, – повторила свой вопрос мать.

– Он взял меня вот здесь и спросил, нравится ли мне это.

Гита тихо осела.

– Он сказал, что подарит мне серебряное колечко, если я тебе ничего не скажу.

Взгляд Гиты упал на узелок – откуда он здесь? – ах да...

– Вот лепешки и сыр, снеси отцу.

Когда дверь за дочерью закрылась, Гита хотела встать, но почувствовала, что проваливается в черную дыру.

Иногда Тео подвозили крестьяне. Когда кривой чамар-кожевник показал ему на свободное место в подводе, он заколебался, прежде чем сесть на окраешек. Кожа дубилась мочой, и от запаха некуда было деться, благо сел он с наветренной стороны. Словоохотливый возница за два часа тряски по разбитой дороге рассказал все о нынешней своей жизни, а заодно и о прошлых. Происходил он из суеверов. Его девяностолетняя бабка перед смертью велела перенести себя в хлев и даже в забытии цепко держалась за коровий хвост – так на хвосте и въехала в рай. Женщин окривевший на один глаз кожевник ругал на все корки, но

вот он начал описывать, как неверную жену муж побил палкой, и его разбойничье лицо вдруг сделалось благостным. О заварушке на границе он, как ни странно, помалкивал, а между тем войной пахло не меньше, чем мочой в подводе. Газеты переменили тон на истерический. Официально признавались жертвы и немалые. Объявили дополнительную мобилизацию. Ожидались военные поставки из некой «дружественной страны».

...Тео протянул монету за проезд, да так и замер с протянутой рукой. Он стоял на открытом месте, подле гигантского дерева, а перед ним сидел на земле смуглый до синеватого отлива старик – худющий, в одной набедренной повязке, с самшитовой палкой между колен. Тео стоял в недоумении. Когда он соскочил с подводы? И откуда взялся этот нищий гимнософист, улыбающийся ему тремя гнилыми зубами? Падший ангел. Как это было, ну-ка?..

Голда капризничала, в доме ералаш, муж пропадает неизвестно где. У Гиты не шел из головы сон – под пятницу, сбывчивый, – за что ни возьмется, все из рук валится. Ну вот! Раздавила пластмассовую игрушку. Голда в рев, а она кричит, нечего, мол, разбрасывать свои вещи, все словно сговорились свести ее в могилу. Спихнулась: кричу, будто мне на живот, как кукле, надавили, а девочка, бедная, зашлась, горюшко ты горькое, ну всё, успокойся, расскажу тебе сказку. Она берет дочь на колени и начинает.

– Жили-были сестры. Одна работающая, все по дому делает, и такая аккуратная, ни соринки после себя, а другая неряха. Возвращаются они домой, впереди два ангела летят. У доброго ангела улыбка ласковая, а злой откроет рот с зубами-гнилушками – мороз по коже. Сестры на крыльцо взошли, ангелы шасть в дом. Смотрят – комнаты не прибраны, игрушки валяются, а уж чтобы стол был накрыт и свечи зажжены, об этом и говорить нечего. Сразу видно, не готовы здесь к встрече красавицы Субботы. Обрадовался злой ангел: «Пускай всегда у них так будет. Не видать им праздника как своих ушей!» И добрый ангел, как ни горько ему было это слышать, сказал «аминь». Стыдно стало неряхе перед сестрой, всю неделю она дом в порядок приводила. А в пятницу за ними опять ангелы увязались. Глядят – все блестит, стол накрыт, хоть гостей созывай. Нахмурился злой ангел, а добрый смеется: «Пусть будут у вас, сестрички, все дни в году, как эта светлая Суббота!» И злой ангел пробурчал «аминь».

– А к нам они прилетят? – испугалась Голда.

– А как же.

– Они сейчас, наверно, ужинают.

– Значит, после ужина и прилетят.

Голда спрыгнула с колен:

– Мамочка, ты поддержи дверь, я быстро-быстро!

– Я не просил у тебя денег, прохожий.

Тео поспешно убрал руку.

– Если ты ищешь мирских радостей, насладись тенью этого дерева. Если себя ищешь – сядь и запасись терпением. А если...

Неподалеку ахнул взрыв, и конца фразы Тео не расслышал.

– Что это?

Нагой философ с улыбкой повел плечами. Над лесом, шагах в пятистах, взвилась ракета с зеленым хвостом, и сразу бухнула пушка. Запахло гарью. Вдруг рвануло совсем рядом, даже воздух подался. За лесом проходила граница. Тео сел на землю. А куда ему было идти?

– Так бы сразу, – сверкнул гнилушками голый.

– Ты не боишься канонады?

– Можно ли бояться того, чего не слышишь?

– Не хочешь слышать, – уточнил Тео.

– Не слышишь, – повторил старик.

Помолчали.

– Час, вечность, какая разница?

Тео спросил, есть ли у него жена, дети. Зачем, был ему ответ, разве может человек дать человеку то, что во власти одного Творца?

– Твоя мать, вероятно, рассуждала иначе.

– Моя мать не рассуждала, в этом ее ошибка.

– Где бы ты был, философ, не сделай она этой ошибки?

– Посмотри! – Старик ткнул палкой влево, где круглилась горушка, лишенная растительности. Тео показалось, что там происходило какое-то движение. – Видишь? Эта земля бесплодна, но разве солнце обходит ее теплом?

Из-за лысой горы открыли минометный огонь. Сейчас ответят, подумал Тео. До горы было рукой подать.

– Ты никого не любил? – неожиданно для себя спросил он.

– Я люблю истину. Она одна не злоупотребит моей любовью.

– Ты знаешь истину? – удивился Тео.

Старик налег подбородком на свою палку, проникая взглядом за оком, словно там лежала разгадка бытия.

– Я люблю единственное, что мне непонятно в этом мире, – усмехнулся он.
– Все прочее слишком тривиально.

– Там гибнут люди, – Тео повел головой в сторону леса. – Кто-то еще жив и нуждается в помощи. Ты ему не поможешь, философ?

– Сострадание. Ты веришь, что это кому-нибудь нужно?

Тео не отвечал. Он думал о том, что в этой набожной стране, где всякая тварь почитается священной, подкармливают даже мух и клопов, а рядом пария умирает от голода.

– Я напомню тебе, чужеземец, историю, которую ты мог слышать в детстве. Скорпион упал в реку и стал тонуть. Мимо плыла выдра, и он взмолился, чтобы она вынесла его на берег. «Но ведь ты меня укусишь», – возразила выдра. «Никогда!» – крикнул скорпион барахтаясь из последних сил. И выдра, поверив, подставила ему спину. Конец ты помнишь? Скорпион все-таки ужалил выдру, и они оба утонули.

– Но кто сказал, что человек скорпион?

– А кто сказал, что он выдра?

От близких взрывов дрожала земля.

– Значит, если кто-то тонет, ты не вытащишь его на берег?

Старик подставил серую как грифель безволосую грудь заходящему солнцу.

– Я не умею плавать.

Тео встал, хотя ступни у него горели.

– Ты уходишь?

– Да.

Старик снова показал свои три зуба. Улыбался он так же охотно, как пророчествовал.

– Это дерево называется рамасал, прохожий.

Тео пришлось запрокинуть голову, чтобы увидеть макушку исполина, увенчанную белым чудом.

– Цветок этот распускается раз в восемьдесят лет. Что бы ни происходило. Истина безразлична к страстям человеческим. Для нее нет правых и виноватых.

Тео сделал шаг в сторону леса.

– Все-таки уходишь?

– Да.

– Я понял, ты ищешь не радостей земных и не самого себя. Ты ищешь смерти, прохожий. Но за ней не надо никуда ходить, она сама найдет тебя в назначенное время.

Тео уже не слышал. Какая-то сила увлекала его вперед, навстречу пушечной пальбе. Он почти достиг леса, когда сзади рвануло. Тео сделал над собой усилие, чтобы не обернуться.

В темноте Гита налетела на кого-то и вскрикнула от испуга.

– Тише, красавица.

Она узнала голос Велвла. Сделала шаг в сторону, он тоже. Рано или поздно это должно было произойти.

– Что тебе от меня нужно?

– Почему твоя дочь перестала носить молоко?

– Она... болеет.

– Ай-ай, какая жалость.

– Пропусти!

– Чтобы завтра все было по-старому, ты меня поняла?

– Больно!

– Не слышу ответа.

Гита резко села на постели. Какой ужасный сон. *Завтра*. Как в ухо выстрелил. Над рекой рассветный туман просвечивал, как кисея. Иезавель крепко спала. Голда, страдавшая от гайморита, дышала как неисправный насос. Надо посоветоваться с Иаковом, решила Гита. Но что он может сделать? Велвл держит в страхе всю округу. Этот негодяй ни перед чем не остановится. И все-то ему сходит с рук. Разве не шептались люди по поводу внезапной смерти его отца, здоровяка, каких поискать? А эта темная история с утонувшим Герш-Бером, лавочником, которому Велвл задолжал кругленькую сумму! Полиция арестовала его по подозрению в убийстве, а наутро он уже разгуливал на свободе, руки в Карманы, наводя ужас даже на цепных собак. Откупился, ясное дело. Сколько может «болеть» Иезавель? День, три, а дальше? Не успеет ведро скрипнуть за калиткой, как ему тотчас донесут. У него соглядатаев больше, чем овец у них в отаре. Все-таки сходить к Иакову. Ум хорошо, а два лучше.

Не зажигая света, она оделась, расчесала наскоро волосы и выскользнула во двор.

У Тео не шел из головы вчерашний день. Еще не рассвело, когда поселок племени мари вспыхнул с четырех сторон. Метавшихся жителей косили из автоматов. Не всех. Главных бунтовщиков отловили. Их расставили фигурно и, прежде чем облить керосином, отрезали им языки. Ушли так же тихо, как пришли. Напоследок хорошо выбритый мужчина, руководивший операцией, распорядился отдать языки собакам, чтобы добро не пропадало. Единственный приказ, оставшийся невыполненным. В поселке не осталось собак.

На исходе второго месяца Тео перевалил хребет Тобакакар и вышел к пересохшему руслу. Впереди забелели дома-временки. Это был гарнизонный городок из тех, что прилепляются к мирному селению и сосут его, пока от него не останется пять-шесть дворов, и не то дворы эти со временем начинают смахивать на казармы, не то сам гарнизон опрощается, принимаясь уставом бить жирных мух и ходить с гранатометами на диких уток. На воинском плацу, заросшем васильками, его поманил к себе щуплый лейтенантик с велосипедом.

– Купишь? – Он назвал цену.

– У меня нет столько, да и зачем мне велосипед.

Лейтенант поскреб подбородок и выругался:

– Седьмой, ети его мать!

Тео не понял.

– Вот! – тот брезгливо оттолкнул от себя руль, не забыв придержать другой верхнюю раму. – Куда я теперь с ним?

Оказалось, командир их пехотного дивизиона приторговывал велосипедами. Полевые занятия он сворачивал пораньше, чтобы до обеда успеть к прилавку. Неявка в магазин офицерского состава расценивалась как уклонение от воинской службы. И ведь что удумал! Каждый месяц «новая модель»: то звончек не слева, а справа, то ниппель на насосе поменяет. А ты выкладывай свои кровные! «Если моя жена на платье брошку нацепила, так у меня теперь новая жена, да?» Лейтенант растер плевком каблуком сапога, сел на велосипед, злобно крутанул педали. Цепь, сделав пол-оборота, соплей повисла на шестерне.

Тео даже не улыбнулся. Он разучился улыбаться, как перестал чему-либо удивляться после того утра в доме приютившей его Нусрат. Она вышла во двор развесить белье и уронила таз: ее сын, не ночевавший дома, стоял перед воротами с черной повязкой на глазах. Он не плакал, шок притупил чувство боли.

Это было предупреждение его отцу, иноверцу, а чтобы тот не сомневался в «чистоте» намерений, операцию произвел профессиональный хирург.

(«*Больно?*»

«*Нет*».

«*А сейчас?*»

«*Нет*».

«*А если я...*»

«*БОЛЬНО!*»)

Древняя Бактрия. Шалея от собственного изобилия, путаясь в языках и наречиях, крича и не слыша, гулял восточный базар. Потерявший правую руку афганец, лаская левой, как женское бедро, ствол своего трофейного «калашника», торговался до хрипоты; черный ассириец с неожиданно высоким бабьим голосом тыкал проходящим в глаза жирные пальцы в перстнях; турок в шлепанцах грозил кому-то кальяном, походит на кривую саблю; о красотах Регистана и его нежных, как хурма, ценах пел красавец с бородой морковного цвета, выкрашенной соком лавзони; из чайханы долетали не то проклятья, не то ликования игроков в зернь. Посреди текущих нечистот и хрустящих под ногами арбузных корок христарадничали, бахвалились, ударяли по рукам.

А недавно на этой площади по ложному доносу расстреляли купца таджика за связь с моджахедами. Дешево стоила жизнь в этих краях, дешевле любого товара. Тео разглядывал золотую парчу, не слыша, что говорил ему торговец.

(«*Больно?*» – «*Нет*». – «*А сейчас?*» – «*Нет*». – «*А если я...*» – «*БОЛЬНО!*»)

«Сейчас» успело превратиться в прошлогодний снег, а к цели он мало продвинулся, и еще меньше – к разгадке. Но, может, все еще обойдется?

Танкисты спасались от жары в тени чахлого дерева. Вокруг танка крутилась ребятня – раздавали стреляные гильзы. Какой-то оборвыш юркнул в открытый люк. Так, подумал заряжающий, белобрысый паренек, пошли глюки. В самом деле, через минуту оборвыш уже выменивал гильзы на сломанную саперную лопатку. А через полчаса колонна ушла дальше – без одного танка, взорвавшегося на первом же ухабе под улюлюканье мальчишек.

В другой раз Тео видел, как боевики отбили машину с фуражом. Водителю повезло, он погиб сразу, а его напарнику надрезали в пояснице кожу и задрали

вверх, как рубаху. Трудно поверить, но после этого он прошел больше километра. Обнаружившего его москвича-сверхсрочника, который насмотрелся всякого, два дня выворачивало наизнанку.

(Но кто сказал, что человек скорпион?)

Голда смутно помнила, что ей рассказывали об Иуде Маккавее, но великолепная минора, горящая в разграбленном храме, поразила ее воображение. И вот сегодня ей разрешат зажечь последнюю свечу!

Из кухни вкусно пахло картофельными латками. Отчего мама такая грустная? Это все Иезавель. От нее одни неприятности. Отрублю-ка я ей голову, вот что... как этот, на «О», царской дочери Юдифи... или наоборот? Надо папу спросить. А пока Голда решила запустить волчок: выпадет «нан» – голова с плеч! Крутила и так и этак, но если не везет, так не везет. «На то и лихо, чтобы не лежать тихо». Мама знает, что говорит.

Солнце в спину – как дуло автомата. Армейские грузовики спешили доставить свой скоропортящийся груз в цинковых ящиках к очередному самолету. По этим грузовикам Тео без труда определял направление: север. Газни – Ташкент.

Он видел их концерт в полевом лазарете. Все, что ходило, ковыляло и ползало, выбралось на полянку. Эстраду обеспечили бронетранспортеры, поставленные кольцом на случай атаки боевиков. Лохматые парни запели. «Как прекрасен этот мир, посмотри!» – и у скуластого литовца потекли слезы из незрячих глаз. После каждого номера им кричали «еще!» и хлопали, если было чем.

Иаков молча выслушал жену. Он заметил отбившегося ягненка и предупредил его гортанным криком. Чужак. Своих он метил, и держались они купно.

– Я поговорю с ним, – сказал он угрюмо.

– Ты плохо знаешь Велвла, он...

– Я с ним поговорю, – повторил Иаков.

Тема была исчерпана.

Гиришк стоит на правом берегу Гельменда. В разрушенной крепости с сохранившимися барбетами для допотопных пушек и давно высохшим рвом были

устроены советские казармы. В ангаре стояли боевые вертолеты. На стрельбище хлопали одиночные и автоматные.

За чертой крепости высилась гробница Ахмед-шаха – восьмиугольник из фарфоровых плиток, золоченый свод, минареты. Обойдя его, Тео постучал в двухэтажный особняк из сырцового кирпича. Все комнаты были сданы, но предприимчивый хозяин мигом расчистил для него чулан. Сам Гассан с семьей ютился наверху, в клетушке, деря втридорога за постой с новой власти, а попутно приторговывая разбавленным вином и американскими зажигалками. Только жена знала о еще одной статье его дохода: он регулярно информировал партизан о своих постояльцах, двух советских офицерах.

Тео, страдавший от лихорадки, лег рано, но вскоре проснулся от громких голосов. Кто-то прокрался мимо его чулана. Он набросил на плечи одеяло и вышел на лестницу. У перил, сжавшись в комок, сидел Гассан. Нисколько не смутившись, хозяин приложил палец к губам. Тео уже хотел уйти к себе, но что-то его остановило.

– Вот и спи в обнимку со своими попами!

В просвет между балясинами Тео увидел со спины мужчину в погонах подполковника, с заломом, от фуражки, темно-русых волос. Перед ним стояла недопитая бутылка.

– Они не мои, Коля, – возразил ему майор. – И не о попах разговор. У меня в Боголюбове бабка вместе с другими деньги на мир собирала. Кто рублик, кто полтинничек. Одна старуха подходит к священнику: «Батюшка, а как наши денежки на оружие пустят?»

– И что ей твой поп:

– А он ей: «Выкинь эти мысли из головы. Ты на мир даешь, значит в твоём сердце мир. А ежели кто на зло наши средства обернет, то на тебе вины нет. Это уже другие деньги будут. Твои потом пахнут, а те кровью». Вот и весь сказ.

– Ты солдатам своим тоже проповеди читаешь? – Коля говорил добродушно, но почему-то от его слов холодело между лопаток.

– Солдат, между прочим, человек. Он не погнами, а головой думает. Как ты и я. И разговаривать он сначала языком начал, а уж потом перешел на автомат Калашникова.

– Врешь! – русоволосый плеснул в стакан остаток спирта и залпом выпил. – Врешь! Мы, Фомич, за него думаем – мы! – на то нам звезды навесили. А его дело пристегнуть магазин и стрелять, стрелять, стрелять!

– Озверел ты, Коля, – тихо сказал майор.

Спина русоволосого угрожающе распрямилась.

– Озверел, говоришь? – так же тихо повторил он, и Тео показалось, что в доме не хватает воздуха. – А ты как думал. Они нам арабскую вязь на спинах выжигают, а я буду... Или забыл, Фомич, как я старлеем, только сюда приехал, отбивал твоих саперов? Тебе напомнить? Это были не люди – обрубки, без рук, без ног, но они еще жили, и я кидал эти тушки в грузовик штабелями. Я потом от крови не мог отмыться. Сапоги на складе другие взял, потому что на моих разводы остались. Это же дикари, майор! Ему в бою кишки выпустишь, а он и рад: разве он о боли думает, он о небесах думает, где его семьдесят семь гурий лежат-дожидаются!

– Ты всех-то не равняй. Если все душманы, то кого ты здесь защищаешь?

– А ты мне политграмоту не читай. Дураков нет. А то заслушаешься, как они «ин шала» поют, и проснешься на том свете. – Он открыл вторую бутылку. – Я быстро усвоил... верь сперва проститутке, потом змее, а уж потом афганцу. Учти, Фомич, не мои слова. – Он опрокинул полстакана.

– Знаю. Киплинг. Тебе не хватит, Коля?

– Когда схватит, тогда и хватит. Штабеля, Фомич, штабеля! Ты-то на сон не жалуешься?

Майор не отвечал.

– Знаю, об чем ты молчишь. Подсчитываешь правых-неправых. Чистоплюю. А мне назад ходу нету. Сам знаешь, как они на мою голову облизываются. Двадцать тысяч афгани. Но сначала я столько голов посношу, что они Колю в своем аллаховом раю помнить будут!

– В госпиталь тебе опять надо, – сказал майор.

– А-а-а, психа из меня делаете, – усмехнулся подполковник. – Давай вяжи... только я буйный... – Он раскачивался на стуле, уперев в собеседника тяжелый взгляд. – Скучный ты человек, Фомич. – Неожиданно он оттаял. – Нет в тебе размаха. Учись, брат, у противника. – Он раскрыл портсигар, извлек маленький квадратик, лизнул. – У них... марочки вкусные... – он уже плохо владел языком, – с одной стороны Микки Маус, а с другой... Попробуй, от этого еще никто не умирал. Они и утенка Дональда... приспособили... под это дело. Плоп-плоп. Желтый клювик, красные лапки...

Опустившись на четвереньки, он «плавал» по гостиной, шлепая по полу ладонями.

(Беги скорей к Черной балке, там...)

Тео ушел к себе.

Был Гите сон. Старики и молодые, положив руки друг другу на плечи, танцуют по случаю веселого праздника Пурим, и вдруг врывается в толпу всадник: «Именем повелителя вашего царя Антиоха Эпифания покиньте сей дом скверны, да превратится в храм всемогущего Юпитера!» Раздается толпа в ужасе, а солдаты врываются в синагогу, переворачивают скамьи с молитвенниками, жгут свитки, уносят золотые подсвечники. А один проник в святая святых, куда сам первосвященник имеет доступ раз в году, и вспарывает брюхо визжащему поросенку, и кровью оскверняет каменные плиты.

– Я ваш бог! – кричит самозванец. – Что же вы не кланяетесь?

Открывается лицо, и Гита, леденея, узнает Велвла. Он протягивает руку Иакову, а тот словно остолбенел. Один из воинов подносит раскаленную головню. Велвл, покачав головой, роняет на пол серебряное кольцо. Иаков, очнувшись, нагибается за ним, и тогда тлеющая головня жалит его в плечо. Раздается ликующее «поклонился! поклонился!», и тут начинают трещать стропила...

А ведь обошлось. Что же такое Иаков ему сказал? Разве добьешься толку? Ладно, главное – оставили девочку в покое, а что странная, так это возраст. Мечтает о своем, на углы налетает. Вся в синяках да ссадинах – смотреть страшно.

«Больно?» – спрашиваю. Как вскинется: «Нет!» Ну, на нет и суда нет, а там уж как-нибудь. А все же кошки на душе скребут. Вечно я со своими страхами. Скорей бы конец зиме и этим дождям...

Тео потерял счет дням. Одна точка отсчета: Святую гору он покинул в 2605-м от года гидждры, когда пророк Мохаммед укрылся от гонителей в Медине. А его, Тео, кто гонит по этой пустыне? Какой пройдоха кутается в его одеяло из верблюжьей шерсти? Подметки стоптал, а конца пути не видно. Водонос смеялся: «Печка дрóчит, а дорожка учит». Интересный народ водоносы – при тяжелых ведрах такой легкий характер. Но не он ли сказал и другое, с умным видом повторил за кем-то: «Если мир не соответствует шариату, то тем хуже для мира».

Началось у городского фонтана, где несколько женщин, перегнувшись через парапет, украдкой откинули чадру. Откуда ни возьмись, налетели подростки – с

рогатками, плевалками, а то и с камнями за пазухой. Словно ждали этой минуты. А там уже подросли их отцы, вооруженные сыромятными ремнями. Женщины подставляли спины, неумело прикрывая лицо. В этом сквозила обреченность. События на площади подхлестнули город. Били матерей, сестер, жен, приговаривая за аятоллой: всякий стыд потеряли! «Если мир не соответствует шариату...»

Безлунная ночь. Дождь. Открытыми окнами дом вдыхает запах жасмина. Скрипнула рама – и снова тишина. Только тяжелое дыхание Голды. Но вот что-то произошло. Вдруг стало неправдоподобно тихо.

– Кто тут?

И разом – хрип, грохот опрокинутого стула, крик матери, силуэт на подоконнике.

В темноте Иаков кое-как справился с выключателем. Гита уже стояла возле младшей дочери, ловившей ртом воздух. Она, казалось, закрывала от кого-то горло, на котором проступали четкие отпечатки пальцев.

Война между Ираном и Ираком разыгралась не на шутку. Радио Тегерана сообщало, что в последних боях противник потерял три самолета, два десятка танков и четыреста человек в живой силе. Артиллерия бомбила прямой наводкой Шайх-Саад, готовилась переправа через Тигр. А в это время радио Багдада поздравляло свой народ с победоносным наступлением. На одном левом фланге уничтожено девять вражеских самолетов, захвачено до пятисот пленных.

В переводе с восточного это означало, что обе стороны несут огромные потери.

Тео спросил Абу-л-Касима, державшего путь в священный город Неджеф, в чем истоки этой многовековой вражды. Выходило примерно так.

Великий Мохаммед дал мусульманам Закон. Только его зять Али, а также прямые потомки последнего, имамы, получили право толковать буквы Закона. Когда имам текущего века, находящийся в «великом сокрытии», явится людям в образе богоподобного Мэхди и восстановит свое царство, тогда воля его делается выше закона Мохаммеда, и падут пред ним племена и народы. Но до тех пор врата иджитхада (единоличного решения) будут закрыты. Так полагают сунниты, узурпировавшие власть в Ираке, сказал Абу-л-Касим. Что до

шиитов, то они всегда считали врата открытыми, а своих духовных вождей – имеющими доступ к главному закону жизни.

Он, конечно, отшутился. Восемь веков ломать копья из-за того, открыты ворота или закрыты? Как рассеялось зло со времен грехопадения! А может, не стоило искушать человека? Один соблазн порождает другие.

«Ты поставил их ниже себя, а это чревато неприятностями. Уж ревнует орла к небу. Сказав «Не судите, да не судимы будете», ты поспешил взять суд в свои руки. Быстро усвоив урок, они избрали старейшин, а из них – вождей, над теми возвысился царь и объявил себя наместником Бога. Он был не хуже и не лучше прочих, просто он первый до этого додумался. Когда сообразили остальные, началась усобица: раскололся стан вождей, распался круг старейшин, и народ, дотоле единый, объявили народной массой...»

«Всё?»

«Для наглядности перенесемся к «горе света», которую древние называли пуп земли. На ее вершине утвержден престол Ормузда – вот он сияет в лучах славы, воплощение добра, а от него на землю спускается солнечная лестница. Видишь, как она прогнулась под тяжестью всех, кто карабкается вверх, расталкивая других локтями: здесь и пророк, занявший верхнюю перекладину, и, ниже, Али с Фатимой по праву родственников, и двенадцать имамов, сокрытых набежавшим облаком, а еще ниже – муштеиды, аятоллы, муллы, пишнамазы, ваэзы... разве всех перечислишь! А далеко внизу, на грешной земле, стоит мечеть, принявшая под своды сотню душ. Человек здесь считается неприкосновенным, однако с минуты на минуту сюда ворвутся солдаты и выволокут безоружных на площадь, где с ними можно будет расправиться, не рискуя навлечь на себя немилость Аллаха... а также пророка, и Али с Фатимой, и всех прочих, вплоть до последнего ваэза. Потому что в данную минуту они взбираются по невидимой лестнице, а уж тут надо смотреть вверх и только вверх, чтобы голова не закружилась».

«Ты пытаешься внушить мне мысль, что гора – это ошибка?»

«Избави Бог. Мне бы с ошибками в тексте разобраться».

Больше месяца прошло после страшной ночи, а Голда по-прежнему молчала. Несмыкание связок, определил врач. Нервы, поправил его коллега. А следы пальцев на шее? Сама себя душила? Нет, мамаша, никаких следов, а эти байки о ночном злодее вы соседям рассказывайте. Между тем Голде исполнилось восемь.

Гита связала ей безрукавку с белым ягненком на груди. Иаков смастерил Ноев ковчег с крошечной фигуркой праведника, благодарно воздевающего руки к небесам. Иезавель испекла свой коронный пирог из шелковицы. Растроганная именинница попыталась что-то сказать... и все кончилось слезами.

Когда-то Ирак делился на сатрапии. Легенда повествует о жестоком правителе, чья ненависть к народу могла поспорить лишь с ответным чувством. И вот однажды в разгар праздника занемогшего тирана с великой поспешностью унесли во дворец. Город тихо ждал вестей, и вот за глухими стенами раздались стенания и вопли. Толпы хлынули на площадь. «Тиран умер, хвала Аллаху!» Распахнулись ворота, и все увидели ненавистного карлика – он сладко щурился, прикидывая, на сколько голов потянет его невинный розыгрыш.

Или вот персидский царь Ксеркс сравнивал Вавилон с землей – вы спросите зачем? Чтобы десять тысяч солдат Александра Македонского два месяца убрали за Ксерксом мусор. Шестьсот тысяч человеко-дней, отданных приобщению к культурным ценностям. Размах! С тех пор как упразднили сатрапии, слабину дала восточная деспотия, умирают вековые традиции. Хотя нет-нет да напомнят о себе красивым росчерком: то курдам вставят фитиль, то в гражданский самолет бомбу подложат. Но все украдкой да с оглядкой. Уходит поэзия Зла, остаются пластиковые мешки, уложенные в морге правильными рядами.

«Я сомневаюсь, что различие желчи способствует творческому процессу».

«Тебе виднее. Глисты и пауки – это ведь твоих дело».

Тео брел, зажатый потными, завшивевшими людьми, и – спал. Перед привалом его расталкивали. Это был хадж. До поры толпа двигалась единым потоком, но скоро он раздвоится: один рукав уйдет на Кербелу, главная же река потечет дальше, затопит Неджеф и окрестности и, спокойная, обмелевшая, докатится до Мекки и Медины. Тео спал, не слыша не мелких ссор, ни крутых разборок. Все чувства в нем притупились. Кровь, жестокости, смерть – бесконечные вариации на одну тему. Спать, спать...

(Господи, неужели тебе Голды мало?)

Он очнулся как от толчка. Его отнесло людским потоком к обочине. В небо уходила скала с рельефами воинов и сказочных грифонов, над которыми парила

гордая фигура царя, ногой попирающего поверженного врага. Рядом другие пленники, сбившиеся в круг, с обрывком веревки на шее.

Объявляет царь Дарий:

«Ты, который в грядущие дни
увидишь эту надпись,
ничего не разрушай и не трогай,
сохрани все как есть».

Если человека попросили «сохранить все как есть», можно не сомневаться, что он камня на камне не оставил, а значит, не стоило делать крик, чтобы увидеть развалины некогда прекрасного города с его башней-зиккуратом и висячими садами Семирамиды и стреловидной улицей, которую даже гигантские крылатые львы не уберегли для будущих поколений. «И поселятся там степные звери с шакалами, и будут жить на этой земле страусы, и не будет обитаема и населяема в роды родов». Сбылось по реченному, и отвращается взор от праха и тлена. Другое дело – одинокий голос. Властно зовет он, и нельзя не идти, ибо близится минута великого искушения, когда в самой истовой вере начинает прорасти зерно безверия. Не спать, не спать!

Парило. Зловонье становилось нестерпимым. Глупцы! Они везут своих покойников из Ирана, Афганистана, Индии, везут неделями под палящим солнцем, и все затем, чтобы похоронить их рядом с гробницей Али или Хусейна. Как будто пропуск в рай выписывают в Неджефе или Кербеле. Безумцы, они и для мертвых ищут протекции. Но что тогда сказать о властях, называющих погребальную индустрию средством оздоровления экономики?

Весной ожидают наводнений. В Эд-Дивании он открыл газету и прочел о плачевном состоянии инженерных сооружений на Евфрате. В заметке «И разверзнутся хляби небесные» анонимный автор как бы между прочим сообщал, что в 621-м году после прорыва ветхой плотины персидский царь велел распять за нерадивость сотню рабов. Имеющий уши да услышит.

Его пригласили к костру местные рыбаки. Обглодав до костей продымленные, черные от копоти куски, он остался с заостренным колышком – и вдруг отшвырнул его как жабу, ничего не успев понять...

(Кровь на острие – видите?)

Он отвернулся, борясь с подступившей тошнотой. К счастью, никому до него не было дела.

В то утро, вспоминая потом подпасок, Иаков был не в своей тарелке. Дочь, принесшую ему еду, против обыкновения не приласкал. Домашнюю лепешку, сказав, что сырая, выбросил, а жену выругал. Разозлился он, вроде бы, прочитав записку от Гиты. Овец, сказал, погоним сегодня в распадок, но когда уже собрались, переменил решение. Подпаску велел идти в распадок, а сам с частью гурта двинулся к Черной балке. Мальчика это удивило: трава там чахлая и склоны крутоваты, только ноги ломать. Однако спорить он не стал. Часам к восьми он пригнал стадо обратно, но Иакова еще не было. Не пришел он и в девять. А около десяти его собака пригнала отару. Подпасок почуял неладное, вот только на ночь глядя выходить не решился. А на рассвете, по дороге в балку, он встретил подводу табачника, и тот довез его до места. Вот и вся история.

В восьмом часу Гиту разбудил стук в окно. В ту ночь, как ни странно, она спала крепко. «Не могла ее добудиться», – рассказывала потом соседка. Когда Гита наконец вскочила, то сразу все поняла и через минуту уже сидела в таратайке. Табачник правил лошадей молча, словно язык проглотил. По дороге их обогнали две машины, полицейская и «скорая».

До костей пробирают ночи в Сирийской пустыне. В палатке арабов-кочевников, освещенной вонючим кизяком, за занавеской, отделявшей их от мужчин, жались друг к другу жены Абдуллы. Ту, что размочила для Тео в воде створоженный катыш, звали Бесим. В гареме она была третьей – досталась по наследству младшему брату после гибели старшего. С детьми в придачу. Тео отпивал прокисшее молоко, отчего делалось совсем зябко, и вдруг проваливался в забытие, из которого его выводили азартные крики игроков.

Почему Иаков поступил наперекор жене? Тео пытался собраться с мыслями. Ведь она писала ему в записке...

Верблюжье одеяло сейчас бы пригодилось. Он узнал его на развале в Сук-эш-Шуюхе, но кто бы ему поверил? Никогда не говори правды, учил его Абдулла, мы народ хитрый.

...и не спроста он так разозлился на Гиту...

Там же, на «базаре шейхов» в Сук-эш-Шуюхе, где под ногами хрустела соль, единственное спасение от полчища термитов, к нему подскочил какой-то оборванец с нехорошим блеском в глазах и вызвался проводить его к Древу

познания добра и зла. Чтобы отвязаться, Тео дал себя привести к могучей акации, на стволе которой виднелись свежие зарубки.

– Кто-то хотел его срубить, – хихикнул провожатый. – Может, все повернулось бы по-другому?

Таратайка остановилась у обрыва, дальше надо было пешком. Медицинская бригада в полном составе сидела в машине, откуда долетала легкая музыка. Шофер ощупал Гиту взглядом ценителя. Двое в форме производили замеры. Сержант отвел угол простыни, чтобы Гита могла опознать мужа. На всякий случай табачник обнял ее за плечи. Потом капитан задавал ей разные вопросы, а сержант что-то искал в кустах.

– Интересно... – Он вертел в руках обструганный колышек. – Кровь на острие, видите?

Капитан закашлялся, чтобы сгладить промах своего подчиненного. Носилки понесли к машине. Простыня съехала, обнажив плечо, и Гита увидела красное пятно величиной с детскую ладонь.

Капитан принял ее в кабинете, где назойливо трещал телефон.

– Так почему все-таки вы написали эту записку?

– Я же говорила, мне приснился сон, будто с ним что-то случится в Черной балке.

– У вас часто бывают вещие сны?

Гита молчала, уловив в его голосе сарказм.

– И вы сразу сообщаете о них мужу?

По ее щекам потекли слезы.

– Извините. Совсем задержали с этим делом. Газетчики телефон оборвали.

Вы не припомните точный текст вашей записки?

– Нечего припоминать. «Не паси сегодня в Черной балке, потом все объясню».

Капитан потер гладко выбритый подбородок.

– Так за каким чертом его туда понесло! Простите. А может, дочка не передала ему вашей записки?

– Как же не передала, когда подпасок своими глазами видел?

– Видел, не видел... – капитан все больше раздражался. – Получается, ваш муж потащился в балку с единственной целью – досадить вам, так?.. Ну, всё, всё.

– Это Велвл, я знаю. Он... он...

Капитан налил ей воды.

– У Велвла алиби.

Гита сквозь слезы посмотрела на него.

– Вчера утром Велвл пришел в участок и попросил запереть его в камере.

Он показал два анонимных письма, в которых ему грозили расправой. Так что когда Иакова... гм... словом, весь этот день Велвл просидел под замком.

– Значит, его дружки!

– Я понимаю ваше состояние, но боюсь, что вы превратно рисуете себе ситуацию. Скажите... вы что-нибудь слышали о сатанистах?

Гита покачала головой.

– В Ираке, недалеко от Хаи, стоит гробница Сеида Ахмеда Ар-Рафаи. В двенадцатом веке он основал дервишский орден. Его последователи в экстазе искалывают себя ножами, полагая, что сам Али заговорил их от холодного оружия. Для многих такое радение оказывается последним.

– Зачем вы мне это говорите?

– Затем что современные сатанисты, чей почерк достаточно хорошо изучен, мало чем отличаются от безумцев из ордена Рафаи. Есть, впрочем, нюанс. Сатанисты истязают других.

– Вы хотите сказать...

– Помните колышек, найденный сержантом?

Она открыла было рот, чтобы рассказать о своем недавнем сне, – о разграбленном храме, о Велвле и его подручных, о солдате, прижигающем Иакову плечо горячей головней, – но вовремя спохватилась. Лишний повод для насмешек.

На кладбище были все свои.

– Кто избежал смерти, тот не жил.

Добрый ребе умел находить слова утешения. Придя домой, по обычаю сели на пол. Надо же было так неумело сделать на платье ритуальный надрез! На тарелке лежало сваренное вкрутую яйцо – символ нетленности. Как он сказал? «Кто избежал смерти...» Ах, ребе, ребе.

Тео голосовал на шоссе. Вчера он был свидетелем, как водитель «форда» уложил из Винчестера человека, который вот так же махал ему на обочине. Но что ему, Тео, оставалось?

(Это же дикари, майор!)

У него есть два дня, от силы три. Он должен успеть! Кровоточили ступни. Камни, камни... откуда их столько? Местные жители любят рассказывать легенду о том, как во время сотворения мира ангел разбрасывал по белу свету камни. В мешке была дыра, и больше всего камней просыпалось на месте нынешней Иордании. Раскаленные камни. Раздолье для ящериц.

(А его дело пристегнуть магазин и стрелять, стрелять, стрелять!)

Притормозил военный грузовик. Рябой солдат, перегнувшись через борт, протянул ему руку. Тео полез в кузов.

В Палестину пришел Новый год, праздник обновления. В этот день, в сорок пятом, здесь было высажено тридцать пять миллионов саженцев по числу погибших в большой войне. И сегодня посадят – груши и яблони в Самарии, абрикосы и персики – в Галилее, бананы и папайю в долине Иордан, лимоны и грейпфруты в полосе Средиземноморья.

На столе стояли четыре чаши с вином. Белым – символизирующим зиму. Розовым – олицетворяющим весну. Красным – славящим лето. Смешанным красно-белым – напоминающим об осени. Так, по обычаю предков, всегда делал Иаков. Так нынче сделала Гита. Она открыла Псалтирь и стала читать:

– Блажен муж, который не ходил на совет нечестивых и не стоит на путях грешных, но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет...

Она невольно перевела взгляд на подоконник, где стоял в горшке цветок, отказавшийся подниматься, несмотря на все усилия Голды. Желтая цикламена. Когда Соломон стал царем, он взял ее за образец для своей короны. Спустя века завоеватель Иерусалима унес корону из сокровищницы. И поникла цикламена, и сказала в печали: «Пока опять не воцарится на престоле сын Давида, пока не вернется в свой дом царская корона, стоять мне с опущенною головою». Тут поливай не поливай.

Навстречу все чаще попадались палестинские беженцы. Близость границы чувствовалась во всем. Комендантский час, затемненные окна. Скелеты домов, умерших во время бомбежки. И вдруг вдали выростали развалины оросительных сооружений эпохи Римской империи. Амман, древняя столица аммонитов,

(«...и родные места Иакова...»)

остался позади. На площади Фейсала перед входом в модный отель красавец черкес, живое напоминание о русско-турецкой войне, громогласно объявлял толпе зевак, что назначенный на сегодня конец света ни в коем случае не отменяется. Какая-то женщина робко спросила его, гладить ли ей теперь белье. Пророка увезли раньше, чем он успел разрешить ее сомнения.

Нет ничего мертвее Мертвого моря. Даже птицы облетают стороной этот гиблый край. Случайная рыба, занесенная сюда течением Иордана, через день-другой выбрасывается волной на берег просоленная и окостеневшая, как сушеная вобла. Дух зла Ахриман витает над проклятым местом. Тео глядел на неподвижную гладь

(И пролил Господь дождем серу и огонь с неба, ниспроверг окрестность сию, и всех жителей, и все произрастания земли.)

и не мог уже себе представить ни цветущих городов, здесь стоявших, ни их обитателей, обрекших города на гибель своим неразумием. Тысячелетия миновали. Патриархальные деревеньки превратились в мегаполисы. А что люди, стали разумнее? Праведнее? Теперь не спросишь пророка на площади Фейсала, каким ему видится конец света. Быть может, таким вот Мертвым морем, где, как в колбе, будет плавать засоленное человечество? Но уже не будет Лота, чтобы вымолить у Бога спасение для себя и своих близких.

(ТЕПЕРЬ Я ВИЖУ, ЧТО ТЕБЯ НЕТ, БОЖЕ! А ЕСЛИ БЫ ТЫ БЫЛ, Я БЫ ПРОКЛЯЛА ТЕБЯ, СЛЫШИШЬ? ПРОКЛИНАЮ ТЕБЯ НА ВЕКИ ВЕЧНЫЕ!)

У Тео упало сердце.

Долина реки Иордан, апельсиновые рощи... мимо, мимо... Хирбет-Кумран, пещеры с осколками жизни ессеев... мимо... Иудейская пустыня... мимо... монастырь Феодосия Великого, пятый век... мимо...

Пилигримы, спешащие в Иерусалим, где трубят роги на подступах к Храму Господню. Но нет праздника на лицах идущих, ибо тьма пала на землю,

*(С чем сравнить тебя, дочь Сиона? Кто может исцелить тебя?
Пророки твои провещали тебе пустое и ложное. Одинок сидит город, он стал
как вдова.)*

сокрыла гранитную скалу с оттиском ступни сына человеческого, и дворик, где его пытали, что́ есть истина, и сад, еще не забывший того поцелуя.

Мимо... мимо... мимо...

Истина не безразлична к людским страстям. Ты солживил, нагой философ, и даже могучее дерево отказалось взять тебя под свою защиту.

И вот – Вифлеем. Как долог был к тебе путь, как безрадостен. Но что сравнится с крутизной последнего подъема! Он сразу узнал горбатый проулок, и куст шиповника со сломанной веткой, и эту выщербленную калитку. Во дворике толпился народ, но когда он подошел к дому, все почему-то расступились, давая ему дорогу.

Вот она какая. Синюшное лицо, голова набок. Крепкую нашла удавку. Глаза открыты, правый бликует, линза. Человеческому терпению тоже есть предел. Из угла старшая дочь глядит волчонком. Младшая, наверно, у соседей. Ничего ты здесь не выстоишь. Мертвые на вопросы не отвечают.

Он вышел на крыльцо. Идти было некуда, оставаться невозможно. Ноги понесли его наугад. Через несколько минут его нагнала Иезавель.

– А он мне про тебя рассказывал, – начала она без предисловий.

– Иаков?

– Велвл. Он говорил, что ты придешь. Когда мы одумаемся.

– Ты... ходила к Велвлу?

– Каждый день. Только сегодня не велел – чтобы я ему не мешала готовиться. А ты меня возьмешь с собой? Я уже не боюсь боли. Не веришь? Смотри, вот! – Она задрала подол и показала ноги в кровоподтеках. – А еще вот... и вот... – она с гордостью отгибала рукава, демонстрируя синяки и ссадины.

Тео онемел.

– Первый раз больно было. Но Велвл сказал, это пройдет. Все мы, от праматери Евы, развратные и подлые. Нам нравится, когда нам больно делают, и наказания мы не боимся. Потому что Бога не знаем. А вот я тебя сразу узнала!

– Он взял тебя силой? Почему же ты продолжала ходить? Он тебе угрожал?

Иезавель удивилась:

– Разве то, что он со мной делал, нехорошо? Но мне ведь нравилось. И мне, правда, уже не больно ни капельки. Велвл сказал, теперь мне не страшно будет умереть, потому что я исправилась.

– Твоя мать ничего про это не знала?

– Нет, я же была не готова. А вчера Велвл сказал: «Можешь ей открыть наши маленькие секреты».

– Секреты?

– Как я к нему ходила. Про Голду. Про Черную балку...

– Постой-постой. Причем тут Черная балка? И твоя сестра?

– Так записка-то у меня была, а Велвл ее прочел и уголок с «не» оторвал. Если, сказал, не сорвется, сегодня душа твоего отца покинет эту грешную землю.

Тео потрянул головой: лицо девочки раздувалось у него на глазах, как капюшон кобры.

– А Голда?

– В Голду вселился дьявол. Он даже говорил ее голосом. Велвл пообещал выгнать его, если я точно опишу, где стоит ее кровать. Жаль, что она все время молчит. Наверно, ей горло обожгло, когда дым изо рта выходил. Я тогда не спала и все-все видела!

– И все это ты вчера рассказала матери?

– Ну да. А она все неправильно поняла, потому что... потому что она... – впервые голос изменил ей.

Они были одни посреди голого поля. По ногам бил ветер. Слепило солнце – ацетиленовая горелка.

– Возвращайся, – сказал Тео.

Иезавель быстро вложила ему что-то в руку и побежала.

– Подожди! Ты говорила, что Велвл готовится...

– К нему должен приехать один тип. Какой-то Мессия.

Когда она скрылась из виду, он разжал кулак. Это было серебряное колечко.

Тео сидел на большом камне. Силы оставили его. Ничто, казалось, не заставит его подняться. День клонился к закату. Тени растягивались по земле, привычные к жесткому ложу. Колдовская пора сумерек, прибежище тишины и фантазии. Чу! слышите?

Зачем ты убил ее? Неужели ты, автор, не мог придумать...

Ты ошибаешься. Как может смертный распоряжаться судьбой бессмертных?

Взошла луна, запели цикады. Тео думал: «Какой ветер разнес по земле семя зла? Есть ли место, где оно еще не проросло, глуша все живое?»

С м е р т ь – прошелестело спасительное слово.

А что если он прав, этот высохший философ, и я всякий раз ищу смерти среди смертных, безнадежно вымаливая свою награду...

Он вспомнил: некий ангел отпал от веры и был отослан с наказом не возвращаться, доколе не принесет то, что искупит грехи человеческие. Первый раз вернулся ангел с каплей крови, пролитой солдатом за свою землю. Велика была цена той капли, а все же пришлось ему лететь обратно. Второй раз вернулся ангел со вздохом матери, пожертвовавшей собой ради ребенка. Бесценным сочли тот вздох, однако вновь отправлен он был на поиски. И вот, пролетая над землей, увидел ангел палача, занесшего топор над своей жертвой. Вдруг что-то в глазах жертвы остановило руку убийцы, опустил он топор, и слеза скатилась по щеке. С этой слезой вернулся ангел на небо, и был прощен.

Он думал: «Мне нечего больше дать им».

«Стоит ли тогда покидать свою горную обитель, если это ничего не изменит?»

«Это мои уголья, и я здесь лесничий».

«Надеешься на чудо?»

«А на что надеешься ты, глядя на чистый лист бумаги?»

«Ты уходишь?»

«Мы еще встретимся».

С этими словами Тео тяжело встал и тронулся в обратный путь.